

Дмитрий ГОРЧЕВ



ЖИЗНЬ <18+> БЕЗ *Карло*

музыка для экзальтированных старцев

К 60-летию со дня рождения

Дмитрий Анатольевич Горчев
Жизнь без Карло: Музыка для
экзальтированных старцев
Серия «Одобрено
Рунетом. Подарочное»

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69856288

Жизнь без Карло: Музыка для экзальтированных старцев: АСТ;

Москва; 2023

ISBN 978-5-17-158233-3

Аннотация

Эта книга выходит в свет к 60-летию со дня рождения автора и через 13 лет после его смерти. Автора, чье имя вот-вот должно было появиться среди первых имен современной литературы. Но – не хватило времени. Его всегда не хватает гениям.

В автобиографическом прото-романе «Жизнь без Карло» – точные трагикомические зарисовки из армейской, деревенской, дорожной и жизни «офисного человека с очень хорошим жалованьем». Вдохновенно, отчаянно, горько – о том, как это было, зачем оно так есть и почему никогда не изменится. Всё так, как это задумал автор.

Об авторе:

Дмитрий Горчев (1963–2010). Писатель, художник, переводчик, один из первых блогеров-«тысячников». Родился в Казахстане, окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков (ныне Казахский университет международных отношений и мировых языков). В конце 90-х переехал в Петербург и работал главным художником издательства «Геликон Плюс» и журнала Бориса Стругацкого «Полдень. XXI век». С 1999 по 2013 год издано 14 авторских сборников. Был одним из гостей легендарной «Школы злословия». С 2008 года жил в маленькой деревне Невельского района Псковской области.

Содержание

Последняя песня Буратино	9
I. Дорога в деревню	18
Железная дорога	19
Дорога. 90-е годы. чуйская долина	27
Дорога в деревню. Мужчина	35
Дорога. Чуйская долина	36
Дорога в деревню. Плацкарт	41
Дорога. Цыгане	44
II. Деревня	47
Деревня. Август. Ночь	48
Двадцать грамм. Советская армия	51
Деревня. Август	55
Двадцать грамм. Володя	56
Деревня. Август. День	59
Двадцать грамм. Гауптвахта	61
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Дмитрий Горчев
Жизнь без Карло:
Музыка для

Экзальтированных старцев

© Горчев Д. А., наследники, 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2023

* * *

1000

Губы его всегда сухи. Внутри его шершавого рта медленно шевелится наждачный язык, стирая в пыль последние чёрные зубы.

Глаза его покрыты мутной плёнкой, как у птицы, уши шелестят на ветру, как осенние листья. Пересохшие сухожилия с трудом соединяют его деревянные кости и иногда рвутся. По глубоким трещинам на его ладонях можно было бы предсказывать землетрясения и наводнения, гибель цивилизаций и приход саранчи. Но трещины эти занесены сухим песком, и их никто не читает.

В нём не осталось ни капли влаги. Даже в сушёной вобле есть вода, но в нём её нет совсем.

Он мог бы летать, но его унесёт ветром в незнакомые и ненужные места, и поэтому он не летает и ходит, крепко цепляясь руками за кусты. В воде он не тонет, но и не плавает — он просто лежит на её поверхности.

Он мог бы жить в космосе без всяких приспособлений. Он ходил бы по Луне, и ему там было бы даже лучше, потому что там нет ветра, который мог бы его унести. Но никто не пускает его в космос, потому что он там никому не нужен.

Он часто пьёт. Влага всасывается в него, как живительный порошок Урфина Джюса, и исчезает с лёгким дымком. Он мог бы выпить море, но ему жалко тех жителей, что живут по его берегам, хотя он и не помнит, как они, эти жители, выглядят и зачем им это море нужно. Да и сами жители этого не знают.

Его не существует. Он не записан ни в каких книгах учёта и регистрации, его не замечает милиция. Спешащие куда-то люди проходят сквозь него и потом отряхивают с себя пыль, удивляясь – где это они так испачкались. Если бы он захотел купить что-нибудь в магазине, ему бы ничего не продали, даже если бы он дал им деньги. Поэтому он ничего не покупает и деньги ему не нужны. Он даже и не помнит уже, как они выглядят, эти деньги.

Но он зачем-то есть. Он медленно-медленно переставляет безжизненные свои ноги и идёт куда-то, всё время идёт. Падает, долго лежит неподвижно, иногда много дней, потом снова между его веками появляются трещины, внутри него натягиваются полусгнившие верёвочки, и он снова встаёт и идёт.

Он не знает, куда он идёт, но знает, откуда уходит, – из сухого этого места, где всегда метёт песок и пыль, от ненужного этого моря, в котором живут мёртвые рыбы, от высохшей травы и чёрных деревьев.

Куда-нибудь туда, где всегда сыро и сумрачно, где когда-то давно жил Карло. Туда, откуда он когда-то вышел и куда он обязан однажды вернуться и снова стать тем, кем он всегда был: деревянным поленом.

Последняя песня Буратино

Они нарисовали мне рот и хотят, чтобы я говорил.

Надели мне голову и хотят, чтобы я ею думал.

Просверлили глаза и хотят, чтобы я ими видел.

Привинтили мне нос и хотят, чтобы я этим нюхал.

Они натянули на меня новую кожу, чтобы мне было жарко и страшно.

Но когда откроется рот, я скажу им одно только слово.

Только одно: да пошли вы все на хуй.

Жизнь без Карло



Читатель нынче совсем охуел.

Лезут все прямо из кожи вон, чтобы ему угодить. Сюжетец? – вот вам такой лихой сюжетец, что можно читать с любого места, да хоть бы и задом-наперёд. Просвещённым себя желаете почувствовать, приобщённым к тончайшим тайнам бытия и манованиям небесного эфира – так вот вам: про философский камень и про тайную мудрость, да так ловко составлено, что по прочтении вы сможете непринуждённо посещать горные выси и чувствовать себя в астральных мирах ничуть не более стеснённым, нежели у себя в сортире. Желаете чего-то особенного – так вот вам и про гавнецо-с, но тонко и со вкусом, так что безопасно читать хоть за обедом. Вы, главное, купите! Если бы учёные изобрели такую книжку, которая бы во время чтения щекотала читателю гениталий, то книжка эта пользовалась бы среди читающей публики огромным успехом.

Конечно же главным виновником такого несчастного положения является не кто иной, как подлец-издатель, коего ничего ровно не волнует, кроме немедленных барышей – он и отца родного готов продать, завернув для лучшего вида в суперобложку, ежели посулят ему за то лишний грош. Но и ты, читатель, хорош тоже! – оглушённый криками книгопродавцев, совсем позабыл ты, что не та есть сладостная мечта, которая, задрав юбку, предлагает себя, едва отворивши двери твоего жилища, а совсем-совсем иная! Сладостная мечта требует любви и терпения, и непременно – непременно! –

вложения души твоей. А впрочем, если жалко, то и не влагай. Душа потомится, перебродит и станет ещё лучше.

Да что там говорить: возьми любой самый пустяковый предмет – да хоть ложку алюминиевую и нацарапай на ней что хочешь: хоть имя своё, хоть слово «хуй» – и забрось её далеко-далеко в море, или что там у тебя под боком. Обещаю тебе, что, когда через десять лет ты обнаружишь эту ложку в немыслимом каком-нибудь месте: в ящике, например, кухонного стола женщины, которую ты видишь утром первый раз в жизни, ты будешь потрясён до самой крайней степени, и ложка эта, быть может, станет для тебя более удивительна, чем все сокровища Египетского зала в Эрмитаже.

Что, читатель, неужели не веришь, что так бывает? Если ты не дурак, то и сам знаешь, что не бывает только того, чего не бывает. А бывает всё.

Впрочем, извини: автор, похоже, и действительно впал в чрезмерное панибратство – эдак и последние читатели разбегутся! И равнодушный издатель пролистает эту рукопись: «Что за хуйню изволили написать? Вовсе не того ожидали мы от вас, любезный автор!»

И что на это возразишь – ничего, ровным счётом ничего! Гол автор и незащищён пред миром этим, сытым и пресыщенным, несёт доверчиво ему свои камушки, стекляшки и пёрышки – может, нужны кому? А не нужны, ну так и что ж? Разве перестанут они от этого быть? И уж ежели всё прах, то чем, ответьте, один прах хуже другого? Да ничем.

Но, впрочем, довольно уже вступлений.

Засим – и с Богом.

В середине июля 200* года, незадолго до отправления брестского поезда на платформу Витебского вокзала выбежал человек ничем не примечательной наружности. Впрочем, точнее было бы выразиться «ничем не примечательной петербургской наружности», ибо в других городах такая наружность скорее слишком примечательна – с клочковатой бородой, выросшей на лице как придётся, по всей видимости, от нерасположенности её обладателя к ежедневному бритью, в покосившихся очках (владелец, видимо, частенько на них садился или же наступал сослепу поутру), в неопределённого цвета джинсовых штанах, давно нуждающихся в замене или хотя бы уж в стирке. Впрочем, довольно – лиц такого рода можно встретить в Петербурге на каждом шагу: порой в самой дешёвой рюмочной, в которой наливают водку в пластиковый стакан по десяти рублей за пятьдесят грамм, в Фонарных банях (ныне, увы, при странных обстоятельствах сгоревших), где брали тридцать рублей за вход, а то вдруг и в таком заведении, где одна только кружка пива стоит, может быть, столько же, сколько составляет весь месячный бюджет такого сорта господина. В этих заведениях такие характеры никогда не заказывают себе еды, сказавшись только что отужинавшими или же извинившись больным желудком. Что, однако же, не мешает им тут же изрядно нагрузиться пивом

или другими напитками за чужой счёт.

Возраст их, как правило, трудноопределим: что-то между далеко за тридцать или слегка за сорок. Цвет лица их не цветущий, но и не чрезмерно болезненный, часто свидетельствует о пристрастии к горячительным напиткам, не переходящем, впрочем, определённых границ. Служат они в большинстве своём в должностях, не требующих постоянного присутствия на месте. Они часто даже вовсе почти не появляются на службе, предпочитая общаться с начальством через посредство удалённых сетей, в каковых сетях их обычно найти весьма затруднительно, ибо переносные их телефоны всегда отключены за неуплату, а компьютерные сообщения вечно пожираются смертельными вирусами. Впрочем, в дни выдачи жалования такие сотрудники становятся вдруг слишком доступны для общения и порой появляются на службе раньше даже самых прилежных работников, где бесцельно бродят по кабинетам, терпеливо дожидаясь появления главного бухгалтера.

Получивши, наконец, жалование, они моментально вспоминают о неотложнейших делах, и уже через пять минут их можно видеть с банкой пива балтика или невское (пиво степан-разин употребляется в Петербурге чаще лицами более пролетарского сословия), задумчиво стоящими на мосту через Неву и созерцающими летящие на воздушных крыльях в Петергоф прогулочные суда или же баржи, перевозящие воду из Ладожского озера в Финский залив. Либо же их мож-

но встретить в упомянутой уже рюмочной или в чебуречной, которая не сменила неказистый свой интерьер и неприветливый персонал ещё со времён развитого социализма; а то и просто бессмысленно сидящими на скамейке всё с той же открытой банкой пива.

Порой же они и вовсе нигде не служат, и чем добывают себе хлеб насущный – Бог весть.

В петербургском пейзаже они составляют такую же обязательную черту, как глухие дворы-колодцы, исписанные стены или спящий возле метро бомж, – взгляд местного жителя скользнёт равнодушно по такому персонажу, чтобы устремиться к чему-либо более интересному: непомерно обнажённой по случаю тёплой погоды девушке или же мужчине, идущему по Петроградской стороне в клетчатой юбке (трансвестит или шотландец?).

И даже милиция, которая, казалось бы, должна замечать всё, что происходит на белом свете, совершенно их не видит, подобно тому как лягушка не может увидеть неподвижные предметы. Хотя для справедливости нужно заметить, что если даже и такой неприметный гражданин напьётся чрезмерно пьяным, то милиция немедленно со всем служебным рвением вычленит его из проходящего народа, дабы очистить его карманы от излишних денег и переносного телефона и преподать ему таким образом самый наглядный урок о пользе умеренности и пагубности неумеренного пьянства.

И вот именно такого рода персонаж появился, как мы уже

говорили, на платформе Витебского вокзала.

Обливаясь потом, он почти что бежал с изрядно тяжёлым рюкзаком, хотя до отхода поезда оставались ещё добрые десять минут.

Всем известна эта малоприятная суетливость, которая порой охватывает перед отъездом даже самого хладнокровного человека: а как если пробки? А вдруг на моё место продали два билета (так случается очень редко, но проводникам выгодно для своих целей поддерживать в пассажирах заблуждение, что это происходит очень часто), и место займут? Причём займут не интеллигентные люди, а неприятные пьяные гопники или же такая железная старуха, перед которой бессилен не только проводник, но, может быть, даже целый батальон самого элитнейшего спецназа? Да мало ли что!

Утверждают, что жизненный опыт будто бы делает человека мудрее – чепуха! Жизненный наш опыт есть не что иное, как опыт отрицательный. Человек, хоть раз наблюдавший красные фонари на последнем вагоне уходящего навсегда поезда (а наш герой наблюдал их не один и даже не два раза), становится при всяком отъезде нестерпимо суетлив и глуп: он роняет вещи, путается в платформах, он ничего не понимает и легко может закричать или даже ударить человека, мешающего его продвижению к вожаемому вагону. Всякий раз он клянётся себе, что в следующий-то раз непременно выйдет за два часа, приедет на вокзал за час и будет там спокойно выпивать пиво, поесть блины с селёдкой или

заниматься другим столь же приятным времяпрепровождением, но всякий раз что-то ему мешает, и он с удивительной точностью прибывает к поезду ровно за десять минут до его отправления. Но порой даже и в славящемся своей пунктуальностью метро может случиться затор: усталый вечерний пассажир свалился на рельсы или другая какая причина – и вот они снова, красные огни.

А потому необходимо как можно скорее взгромоздить свою поклажу на личную свою полку и только тогда уже важно выйти на перрон, дабы с приветливой улыбкой проститься с провожающими, буде таковые есть, или же просто постоять с банкой пива или фляжкой самого скверного коньяка, снисходительно поглядывая на пробегающих туда и сюда ещё не устроенных пассажиров.

Ну вот, в конце концов, персонаж всё же благополучно проник в вагон, с облегчением сбросил на боковую полку рюкзак и оказался мной. Я ехал жить в деревню.

I. Дорога в деревню



Железная дорога

Для того чтобы полагать себя хоть немного путешественником, нужно любить дорогу. То есть не считать её досадной помехой на пути к ожидающему в конце её счастью, но помнить всегда, что именно дорога и есть самая главная часть любого путешествия, простите уж за такую сентенцию.

Сборы в последний момент (и непременно, в тысячный уже раз, забудешь взять с собой что-то очень важное, о чём горько потом пожалеешь в пути: пустяк какой-нибудь – ножик или, может быть, соль в спичечном коробке), посидеть на дорожку (ну, с Богом!), прибежать как всегда к самому уже отправлению, рыться по карманам в поисках билета, паспорта, сигарет, зажигалки (очень важно почему-то успеть, обязательно успеть покурить ещё на перроне), попрощаться торопливо – «ну пока» – «пока, пиши там» – «конечно-конечно».

И вот уже тронулся поезд медленно, словно и сам не уверен – а надо ли? а чего я там забыл? – но уже бесповоротно. Разве что в честь опаздывающего какого-нибудь пассажира, роняющего на бегу чемоданы и размахивающего голубыми тысячными бумажками, дёрнется вдруг поезд мучительно, зашипит страшно и злобно, остановится на краткую секунду, но тут же вновь упрямо рванёт оглобли – ибо теперь уже всё решено окончательно и навсегда: едем! И проводницы в па-

радном обмундировании застыли в дверных проёмах с жёлтыми флажками, будто неживые, словно солдаты у мавзолея (не то что на промежуточной какой-нибудь несущественной станции, где кряхтя спускают они со ступенек толстые свои жопы на толстых же ногах, завёрнутых в шерстяные носки, обтерев кое-как поручни закопчённой тряпицей). И звучит торжественная музыка, ибо это и есть тот самый момент, ради которого и были придуманы железные дороги.

И вот потянулись уже некрасивые пищеварительные пути покидаемого города (ему незачем более красоваться – его уже бросили), рельсы справа и слева сбегаются под наши колёса, и разве что случайная какая-то заросшая травой ветка вильнёт вдруг куда-то в сторону – к ржавому ангару, да и сгинет за никогда не раскрывающимися его воротами с непонятными для живых людей надписями: ОРС НОД, ОКПО, УГРУ... Прочь, прочь отсюда!

И вот здесь-то мы и попрощаемся с Петербургом Гоголя и Достоевского, тем более что ни первого, ни второго, ни уж тем более третьего уже всё равно нет. Двое последних давно умерли, а Петербург, хотя ему и посчастливилось больше, чем Москве, ныне погребённой под мухоморами небоскрёбов, выстроенных по самой последней сингапурской моде семидесятых годов прошлого века, тоже уже еле дышит. Одна только есть надежда, что какой-нибудь живительный кризис, мор и глад на какое-то время остановят его энергичных управителей и уплотнительных застройщиков, уничто-

жающих всё то, что высочайшим указом не превращено в расписную хохлому для зарубежных туристов. И тогда ещё сколько-то лет простоят бесценные руины древней Коломны, Петроградской стороны и Васильевского острова.

И вот уже остались позади дряхлый пожарный поезд в ту-пике, деревянные вагоны, каких давно уже не делают в бывшей братской республике ГДР, звенящий шлагбаум с выстроившимися к нему в очередь автомобилями (давно, видно, стоят, а мы только отъехали!). Закончился бесконечный, как нам казалось, бетонный забор, украшенный названиями радикальных партий и требованиями немедленной свободы, а то и вовсе бессмысленными загогулинами. И следует, значит, опять идти курить, теперь уже в тамбур, – в этот раз не торопясь, аккуратно стряхивая пепел в чистую железную пепельницу, из которой не торчат ещё во все стороны толстые развратные окурки с перепачканными женской помадой фильтрами.

Потом вернуться на своё место и, дожидаясь про-водника (обязательно нужно дождаться проводника! – а то вдруг билет неправильный и поезд остановят и высадят нас в чистом поле), осторожно рассмотреть попутчиков: не опасны ли? Не будут ли приставать с глупыми разговорами, храпеть, командовать, вонять? Вы куда? Ах да, знаю, я там был один раз проездом. А вы из Питера? Да нет, я из Костромы, сестру ездила проводить.

И только когда проводница проверит билеты и выдаст

постельное бельё, можно начинать обустраивать походный свой дом: выложить на столик книжку, ту, что давно соби-рался прочесть, да всё недосуг, или же наоборот – какую-ни-будь безусловную дрянь в бумажной обложке, купленную ра-ди непомерной её дешевизны на бегу в привокзальном ки-оске, чтобы пролистать и выбросить по приезде в урну; ста-щить с третьей полки матрас старушке, застелить бельё, по-весить на скобу влажное полотенце, сесть наконец спокойно (едем!), открыть пиво, долго-долго смотреть в окошко до тех пор, пока за ним всё редуют и редуют строительные магази-ны, автозаправки, гаражи, позабытые кем-то бульдозеры на древнем и безнадежном кургане в честь строительства коль-цевой дороги, паровозный музей – да вот и всё. Вот уже и нет решительно ничего, кроме грязных зонтиков ядовитого борщевика да кривых столбов. Стало быть, следует пойти с открытой бутылкой опять в тамбур.

Там уже курит неприветливый мужчина ещё в галстук и строгая женщина с длинной сигаретой и равнодушным, но цепким взглядом. А вот ещё один человек вышел покурить, потом ещё один, и уже дым ест глаза. Кто-то открывает дверь в межвагонное пространство, где страшно грохочут две вы-пуклые железки, так ненадёжно скрепляющие вагоны между собой, за мутным стеклом так же напряжённо курят люди из чужого, не нашего, пространства – всюду жизнь.

В вагоне некурящие пассажиры слаженно шуршат паке-тами, извлекая столь необходимые в дороге предметы: чаш-

ки, ложки, банки и кульки с пищей; в туалет выстроилась очередь на переодевание в тренировочные штаны с полосками и невыходные блузки; и старушка в соседнем купе завела уже нескончаемую свою историю про сына и невестку; а вот и проскочил мимо, лишь пошатнув нас на стрелках влево-вправо, полустанок с неразборчивым от большой скорости названием – слишком он для нас мелок, чтобы занимать драгоценное место в хранилищах нашей памяти.

Впрочем, в этой памяти вряд ли задержится даже имя и той станции, которую гордый наш состав удостоит краткосрочной остановкой, где мы спустим на хрустящий гравий своё отвердевшее от малой подвижности туловище и будем, зевая, отмахиваться от старух из привокзального града-китежа, умоляющих купить у них хотя бы одну бутылочку нездешнего пива. Сжалившись над старушками, купим мы у них кучку из четырёх рябых яблок или же два старательно облепленных укропом малосольных огурца, бросим на гравий недокуренную дымящуюся сигарету, и назад – в привычный уже вагонный запах, почти что к себе домой.

Там на столике лежит вниз лицом книжка, раскрытая всё на той же непроходимой семнадцатой странице, в пачке осталось две сигареты, и надо бы снять с третьей полки рюкзак, чтобы выудить с самого его дна следующую, но это потом, а пока лучше забраться наверх и, глядя в низкую, как крышка гроба, багажную полку, не торопясь переливать бесформенные мысли из одного полушария в другое.

Говорят, что половину дороги человек думает о том, что оставил позади, а вторую половину – о том, что ждёт его далее. Возможно, что у кого-то это именно так и происходит. А мы тем временем, поймав вдруг у себя в голове совершенно ни с чем не сообразный сюжет, понимаем, что засыпаем. день был хлопотный, да и предыдущий тоже.

Всегда ведь непременно нужно перед дорогой закончить тысячу неотложнейших дел и, конечно же, ничего так толком невозможно завершить, ибо для этого нужна целая человеческая жизнь, и, вернувшись потом (если когда-нибудь удастся!), найдём всё те же дела в том же самом месте, и ровно ничего с ними без нас не случилось: небо не упало на землю, никто не сел в тюрьму, и все люди, кому не вышел ещё земной срок, живы. Да если даже эти дела и никто вообще никогда не доделает – с нами ли, без нас, ничего ровно не произойдет чрезмерно фантастического... Но, впрочем, мы уже спим.

Проснёмся мы от того, что вдруг разом захлопало очень много дверей: это означает, что поезд остановился, – отчего-то во время стоянок всегда непрерывно хлопают двери, будто бы все пассажиры немедленно вскочили со своих мест и побежали по поезду в разные стороны. Но нет – все спят: пронзительно-голубой станционный фонарь освещает через окошко неровный ряд свесившихся в проход мужских ног в носках (в точности на уровне лица – главный конструктор

первого плацкартного вагона в загробной своей жизни наверняка вечно идёт по бесконечному вагонному проходу с этими самыми носками), а в соседнем купе страстно храпит пассажир, ещё вечером производивший впечатление вполне интеллигентного человека.

«Стоим?» – глупо спрашиваем мы непрокашлявшимся голосом у старушки (она сидит на нижней полке, не спит). «Стоим!» – приветливо отзывается старушка, надеясь, видимо, продолжить свою историю про сына и невестку, каковая история закончится, впрочем, только вместе с чьей-нибудь смертью.

Что за станция? Но старушка, увы, не знает. Да и многие ли из вас, смеявшихся в детстве над человеком рассеянным, знают, на какой железнодорожной ветке расположена станция Дибуны?

Шаркая незашнурованными кроссовками, мы идём в засыпанный уже пеплом тамбур, закуриваем невкусную сигарету и смотрим в окно: там невидимая женщина кричит в громкоговоритель на неизвестного мужчину. Оттого, что ответов мужчины не слышно, кажется, что женщина эта страшная дура и сука, и непонятно, как её тут терпят, если она так орёт каждую ночь. «Осаживай состав на десятом! – кричит она с ненавистью. – Подавай маневровый на седьмой!» «А нахуй не пошла?» – мысленно отвечаем мы за невидимого мужчину, но он и без нас знает, что ему нужно делать, и поэтому ровно ничего не происходит – никто никуда не осаживает.

вает и ничего никому не подаёт. Лишь хлопают по-прежнему двери и бегают туда и обратно одни и те же проводники, будто бы только от них и зависит – поедem мы дальше или же останемcя на этой станции навсегда.

Дорога. 90-е годы. чуйская долина

Вот так однажды проснулся я среди ночи, освещённый синим фонарём, но уже не как простой безответный пассажир, которому каждое проходящее мимо лицо в фуражке вольно отдавать строгие распоряжения, а в статусе именно такого на всё уполномоченного лица, то есть проводника.

Двери, как это ни удивительно, нигде не хлопали либо же были не слышны из-за того, что весь наш вагон содрогался от страшных ударов снаружи. Я с большим трудом поднялся с полки и кое-как отомкнул дверь тамбура. Внизу стоял чрезвычайно злобный человек в железнодорожной форме, украшенной множеством разнообразных нашивок, что, по-видимому, свидетельствовало о высоком его чине (хотя нашивкам не всегда следует доверять: у иного демобилизованного узбекского рядового нашивок и аксельбантов может быть гораздо больше, чем у самого заслуженного генералиссимуса или даже инопланетного космонавта, но это к слову). Куда более убедительно выглядел портфель – среди сельского казахского населения он в те времена почитался как символ принадлежности к высшим слоям общества, то есть к Начальникам.

«Ага! Проснулся!» – сказал железнодорожный начальник с непонятным мне злобным удовлетворением и удалился в сторону штабного вагона, так и не дав мне никакого разъяс-

нения этому странному происшествию.

Разъяснение, однако, было получено слишком даже скоро от командирши нашего отряда проводников. Она появилась в проводницком купе уже через несколько минут и кратко сообщила: «Пиздец вам – милицию вызывают. Куда ж вы так нажрались?» «А мы нажрались?» – удивился я было, и тут же в сплошном тумане внутри моей головы высветились несколько моментальных снимков, которые неопровержимо свидетельствовали: о да! – мы действительно нажрались.

Здесь, впрочем, следует на некоторое время отвлечься от сюжета и объяснить читателю, каким образом я всё же оказался в этом странном положении.

Дело в том, что буквально накануне мы, то есть я и два моих институтских приятеля (мы когда-то вместе поступали в институт, но на время службы в армии часы мои остановились и я отстал от них ровно на два года), вернулись из самого нашего первого рейса в качестве проводников по маршруту Алма-Ата – Москва – Алма-Ата в составе так называемого СОПа, то есть студенческого отряда проводников.

В качестве исторической справки для нынешнего дремучего поколения следует сообщить, что трудовые студенческие отряды были вообще чрезвычайно популярны в те времена. Богатые родители были тогда редки и пугливы, как эндемические растения, а юные организмы неумолимо требовали подружек, пирушек и всего остального, из чего, собственно, и состоит процесс получения высшего образования.

А на стипендию, пусть даже повышенную, можно было позволить себе разве что самую скромную одежду, два беляша на завтрак и ежедневный хек с вермишелью в студенческой столовой на ужин.

В стройотряде же можно было, при благоприятной фортуне, заработать баснословные деньги – чуть ли не до тысячи рублей на руки за лето. Но и работать приходилось в прямом смысле от зари до зари, а иногда и ночью, без всяких выходных. Больных и малосильных сразу же безжалостно изгоняли, чтобы не кормить лишние рты. Чаще всего работа такого отряда состояла в строительстве коровника или сарая в богатом совхозе на паях с каким-нибудь предприимчивым армянином, каковые армяне во множестве разъезжали тогда по русским деревням. Такие отряды, впрочем, считались ненастоящими и были даже почти нелегальными, в отличие от настоящих, про которые показывали репортажи по телевидению и снимали кинофильмы («яростный строй гитар, яростный стройотряд, словно степной пожар, песен костры горят», – пел в одном таком кинофильме ставший популярным после исполнения песни Александры Пахмутовой про незнакомого прохожего певец и композитор Александр Градский). Позднейшие антисоветчики объявили всё это пропагандой, но наверняка и настоящие стройотряды тоже где-то были – в Советском Союзе было вообще всё, кроме кока-колы, только всегда очень мало.

Я же незадолго до описываемых событий вернулся из

строительных войск, где и так уже уложил бетона гораздо больше, чем предписано в этой жизни среднему человеку, так что вовсе не рвался в именно строительный отряд и потому протиснулся в отряд проводников, где заработки были хоть и скромнее, но зато уж и работа поувлекательнее. Впрочем, имея голову на плечах, и в проводниках можно было заработать даже поболее тех, кто махал киркой и полутёрком, но об этом в свой черёд при более удобном случае.

Итак, мы вернулись из самого первого рейса, привезя пусть не баснословный, но вполне ощутимый капитал – даже я, несколько не отмеченный коммерческой одарённостью, заработал рублей, пожалуй, семьдесят – почти что две мои месячные стипендии.

Вообразив себя на этом основании крупными коммерсантами, мы по приезде в Алма-Ату решили пустить заработанный капитал в оборот – то есть купить на него водки и торговать этой водкой в вагоне ночами по пятнадцати рублей за бутылку. И действительно, мы сообща приобрели два ящика водки (тогда это было ещё возможно, несмотря на уже начавшуюся под руководством забытого ныне Егора Кузьмича Лигачёва антиалкогольную кампанию) и спрятали её в рундуке для постельного белья. Ну и, понятное дело (излишне даже про это и упоминать), изрядно это всё дело отпраздновали песнями из кинофильма ирония судьбы, или с лёгким паром.

Очередной же рейс на ту же Москву был уже на следую-

щий день пополудни, и потому, проснувшись поутру с сильнейшим похмельем, мы принуждены были в самые кратчайшие сроки осуществлять свои служебные обязанности (это только пассажирам кажется, что проводник только и делает, что расхаживает по перрону и покрикивает), а их множество: сдать по счёту грязное бельё, получить чистое, загрузить уголь и торфяные брикеты для титана, заправить воду, получить сахар, чай, печенье и вафли – и всё, как водится, в противоположных концах депо с огромными очередями из таких же проводников. Затем перечесать огнетушители, занавески, вилки и шахматные фигуры (а вы и не знали, что в советских вагонах были вилки и шахматы! – Правильно – хуй бы их вам выдали). Гонцы, ещё утром посланные за пивом, исчезли бесследно, так что к моменту подачи поезда на посадку все мы едва держались на ногах и с трудом шевелили огромными пересохшими языками, отвечая на неизменно идиотские вопросы садящихся в вагон пассажиров.

И вот, когда поезд уже готов был тронуться, увозя нас вместе со всеми нашими надеждами в безводные степи, появились наконец долгожданные гонцы – Айбол и Ербол, с трудом волочащие сетки с жигулёвским пивом. Ради такого дела мы бы и стоп-кран, пожалуй, сорвали, хотя это и считалось тягчайшим преступлением против графика движения поездов, но, к счастью, и этого не понадобилось – успели.

И вот поезд наконец-то тронулся, билеты у пассажиров были собраны, бельё выдано, титан растоплен, заполнены

все бесчисленные путевые, бельевые и посадочные листы, и жизнь наконец-то остановила суматошный свой и бессмысленный бег и оказалась прекрасной. Пиво, правда, быстро кончилось, но по такому случаю из рундука была извлечена одна, и только одна, первая и последняя бутылка спекулятивной водки.

Последующие же события так никогда и не были прояснены окончательно. Что случилось далее? Очевидцы (сами на тот момент не вполне трезвые) рассказывали, что будто бы Волоха (мой напарник), во множестве накупив на станции Чу виноград и урюк, с видом сеятеля разбрасывал их с сатанинским хохотом по перрону, а потом ещё затеял разносить пассажирам чай, так что только чудом никто не погиб от ожогов кипятком, – но увы! – ни подтвердить, ни опровергнуть ничего этого я не могу. Сам я вроде бы в тот раз ни в чём особо постыдном замечен не был, так как чрезмерно быстро заснул прямо на полу в подсобке возле электрошита.

И там же я и проснулся от уже описанного стука.

Состав, однако, снова отправился в путь, а к нам больше никто не пришёл.

Решив, что всё обошлось, я заглянул в проводничское купе: там на полу храпел мой напарник. Я попытался его пробудить, но, понятное дело, тщетно, и полез в рундук, дабы оценить оставшиеся запасы спекулятивного товара. Запасы были удручающими: из двух ящиков осталась примерно половина одного. «Не могли же мы столько выпить вдвоём или

даже вчетвером?» – изумился я, но решил отложить разрешение этой загадки на утро, потому что голова решительно ничего не соображала.

Я глотнул из недопитой бутылки на столике прямо из горла и собрался лечь спать, чтобы освежить голову хотя бы к утру, но увы! Состав снова остановился, и через несколько минут раздались грозные шаги многочисленных ног.

В вагон одновременно ввалились пятьсот или, может быть, тысяча человек, и все в погонах. И все орут! Единственный человек в погонах, которого я опознал, потому что он орал громче всех, был бригадир поезда.

Нас быстренько взяли под микитки и куда-то поволокли. Я-то, уже кое-что сообразив, поволокся добровольно, а вот разбуженный сапогами напарник решил, видимо, что на него среди ночи напали Бесы, и взялся отбиваться. Однако его быстро успокоили теми же сапогами по почкам, и теперь он только пучил глаза.

О, этот пустынный полуночный перрон! На нём даже трезвый и свободный пассажир чувствует себя как первый и последний человек на Луне, а что там говорить про дрожащих с похмелья арестованных проводников?

Впрочем, на перроне мы пробыли недолго, потому что нас за шиворот отволокли в странное какое-то помещение, которым заведовал горбун в белом халате со ржавыми пятнами. Горбун был безобразен и ласков. «Присаживайтесь, молодые люди», – сказал он, гремя какими-то инструментами

в железном корытце. «Пытать будет», – подумал я и застучал зубами.

Однако же вместо блестящих клещей и щипцов горбун выудил из корытца две пробирки с бесцветной жидкостью, вставил в них трубочки и попросил в эти трубочки подуть. Ну, мы подули, попускали пузырьки. Стало даже весело.

«А теперь, – сказал горбун, подливая в пробирки какую-то другую, тоже бесцветную жидкость, – если пробирки окрасятся в розовый или красный цвет, значит, вы принимали алкоголь!» Вид у него был при этом в точности такой же, как у моего школьного учителя химии Петра Пантелеевича перед тем, как он производил какой-нибудь занимательный опыт.

Только жидкость в пробирках не стала розовой. И красной она не стала – она сделалась густо-красного цвета, из пробирок повалил дым, и одна из них, кажется, даже треснула.

«Пошли, – кратко сказал сержант, наблюдавший в дверях за этим занимательным опытом. – Вещи в вагоне возьмёте».

Да какие там вещи – тапки да мятая пачка сигарет, одна на двоих. Ещё не протрезвившийся напарник засунул ещё себе за ремень предпоследнюю бутылку водки: «Утром похмелимся», – сказал он с видом бывалого человека.

Ну вот и всё. И уехал, сверкнув всё теми же красными огнями, наш поезд в далёкий и тогда ещё прекрасный город Москва, где на Казанском вокзале продают волшебный напиток фанты по двадцати копеек за стакан.

Дорога в деревню. Мужчина

Слева от меня едет семья до Херсона – мама и дочка. С ними ещё мужчина, но очень неважный: когда мама с дочкой на него смотрят, они морщатся. Кажется, он муж какой-то их родственницы.

Тем не менее женскую сущность никуда не денешь, и они проявляют о нём какую-никакую заботу: «Николай! – говорит иногда старшая жениcina. – Вы, наверное, хотите кушать?» «Нет! – отвечает Николай важным голосом. – Я сегодня уже кушал, то есть пил ряженку. И ещё мне давали макароны. А вчера я наелся котлет, так что я ничего не хочу больше». «Ну и ладно, – говорит тогда старшая жениcina, – тем более что всё равно послезавтра уже Херсон, давайте уже спать».

Дорога. Чуйская долина

В отделении милиции было почти что уютно: вдоль стен стояли огромные рюкзаки и пахло сеновалом.

Сержант Садвакасов (в Казахстане у всех сержантов милиции фамилия Садвакасов) быстро составил протокол, одобрительно вынул из штанов напарника бутылку водки, тщательно запер её в сейф и отобрал, как положено по уставу, шнурки и ремни.

Я всё ждал каких-нибудь пыток и казней, но ничего – сержант просто посадил нас в клетку, даже по почкам ни разу не стукнул.

Всё ж таки провинция всегда почти добрее города. В Алма-Ате, если попадёшь на казахский патруль (а там в милиции уже тогда были все практически казахи), – то пиздец тебе. Если отделаешься десятком пинков по рёбрам, – то благодаря милосердного нашего Господа, ибо произошло Чудо.

В клетке уже кто-то жил. «Пацаны, курить есть?» – стандартный в таких случаях самый первый вопрос. Я порывлся в карманах, протянул пачку. «Тут курить всё равно нельзя – пизды дадут», – сообщил Некто.

Я уже немного различал в темноте: на полу спали ещё двое.

Некто оторвал от пачки кусок фольги, достал что-то из ботинка и стал аккуратно в эту фольгу заворачивать. Потом

скатал всё это в шарик и проглотил.

«Потом посру, расковыряю палочкой и раскурюсь», – объяснил он мне, хотя я ничего не спрашивал. Я устроился, как мог, на полу и, кажется, даже заснул тем самым сном, который бывает в милицейских клетках. Ну, кто ночевал, тот и сам всё знает, а кто не ночевал, тому и знать незачем – может, и минует его чаша сия. Хотя, впрочем, ничего такого уж страшного – тоскливо только очень и холодно.

Но утро всё равно когда-нибудь непременно наступает.

В шесть часов загремел ключами сержант, зашёл в клетку: «Подъём, блядь, наркоманы и алкоголики!» Наркоманы и алкоголики, то есть мы, закричали и закашляли. «Кто тут алкоголики?» – продолжил сержант. «Мы! Мы!» – торопливо закричали мы с напарником, перепугавшись, что по какой-нибудь ошибке нас тоже причислят к наркоманам. Потому что одно дело вылететь из института (да и хуй с ним) и совсем другое – получить вполне не абстрактный срок за наркоторговлю.

«Пошли», – снова кратко сказал сержант и повёл нас куда-то в посёлок. «Во бля, – подумал я. – Будем теперь до ишачьей пасхи тут за баранами говно убирать».

Но всё опять оказалось не так страшно. Сержант привёл нас к какому-то дому, возле которого стоял необычайно грязный милицейский уазик. «Вымыть, – сказал сержант. – Это капитана нашего. Потом придёте в отделение. Сбежите – пиздец вам. В тюрьму пойдёте». Ишь ты – разговорился.

Вымыли, вернулись. Сержант выдал нам шнурки, ремни и проводнищие удостоверения.

«А водка?» – неожиданно нагло спросил напарник. Глаза у сержанта стали очень нехорошие. «Какая водка?» – спросил он ласково. Я пихнул напарника в бок. «Не было водки, начальник! – сообразил он. – Это мне спьяну примерещилось. Не было». «Не было», – подтвердил я.

Тут бы сержанту в виде мягкого приговора присудить нам этих без гвоздей, но, увы, кинофильм кин-дза-дза в тот момент даже ещё не был снят.

«Теперь идите нахуй, – сказал сержант. – Ещё вас увижу – поедете с этими». И показал на наркоманов, которые снова уже спали на полу.

И вот, стоим мы, значит, во всём своём неприглядном виде на платформе станции и имеем ровно один рубль двенадцать копеек денег на двоих. Сумма эта, несмотря на очень высокую покупательную способность рубля в описываемые времена, была, тем не менее, совершенно недостаточной для того, чтобы эту самую станцию покинуть как можно скорее. А ближайшие два места, где нам могли бы дать займы хотя бы каких-нибудь денег, находятся от нас ровно в пятистах километрах: одно место на севере, другое на юге.

Мы присели в условной тени казахского дерева карагач, закурили одну на двоих последнюю сигарету, в двух местах поломанную, и стали думать о дальнейшей нашей судьбе. Но

ровно ничего хорошего никак не придумывалось.

Сейчас положение наше называли бы тяжёлой жестью, но в те времена так называли только листы (обычно ржавые) из прокатной стали, и поэтому напарник мой обозначил наше положение проще: «кажется, нам пиздец». Я не стал с ним спорить.

И тут в голову мне пришла одна из редких действительно умных мыслей: «Слушай, Волоха, – сказал я напарнику, докурив сигарету до самого фильтра. – Вот мы сейчас сидим с тобой и думаем, как можно за рубль двенадцать добраться вдвоём до Алма-Аты. Но про это очень глупо думать, потому что сделать это невозможно. Но мы всё равно про это думаем и думаем. Поэтому давай-ка мы эти деньги пропьём, и тогда они не будут нам мешать думать по-настоящему».

Напарник мой посмотрел на меня с большим уважением, и мы пошли в пристанционный магазин, где купили бутылку яблочного вина за девяносто копеек, банку кильки с глазами и полбуханки чёрного хлеба. Кильку вскрыли одолженным в магазине хлебным ножом и съели в тени того самого карагача при помощи наломанных с него же веток. Ну и всё остальное тоже, конечно, съели и выпили.

И стало нам легко и просто: мы подошли к первому попавшемуся машинисту тепловоза, показали ему удостоверение и наврали, что отстали от поезда. Он, без большой, впрочем, охоты, впустил нас в заднюю кабину и довёз до соседней станции, где передал нас следующему машинисту. Тот довёз

до следующей, и так дальше, дальше, а точнее, всё ближе и ближе. Так что не прошло и шестнадцати часов, а мы, с ног до головы перемазанные жирной тепловозной копотью, уже оказались совсем дома.

А если бы мы не пропили тогда этот рубль двенадцать, то так бы навеки и остались в той стране дремучих трав, где нет ни времени, ни пространства, и не родили бы детей, и не заметили бы наступления нового тысячелетия.

Дорога в деревню. Плацкарт

Никогда не понимал и сейчас не понимаю людей, которые предпочитают купейные вагоны плацкартным.

В купейном вагоне степень близости с попутчиками лично для меня чрезмерна. Никуда ты от них не денешься. Можно отворачиваться в окно, можно притворяться спящим, но один хуй – вот они: три или два абсолютно чуждых тебе человека, с которыми ты по непонятным причинам оказался заперт в одной камере.

А если один из них, а то и двое, Мудаки? Куда от них деваться? Стоять в слишком узком проходе и пялиться в тусклый пейзаж? Непрерывно курить в тамбуре? Я очень много курю, но даже я не умею курить непрерывно.

Да что там. Если отвлечься от тонких материй, то найдутся материки вполне обычные.

Вот ехали мы как-то с одним приятелем по маршруту Киев – Одесса. В купе, как приличные люди.

Там, в нашем купе, сидела Матушка (настоятельница какого-то женского монастыря) и беседовала о Божественном. Я ничего не имею против Божественного, я только за. Тем более что Матушка говорила на таком суржике, что даже я всё понимал. От Матушки пахло бурой тиной, Золотым Ключиком и другой плесенью нашего телесного бытия. Мы с приятелем некоторое время повнимали Божественно-

му, затем пихнули друг друга в бок локтём и пошли в тамбур жрать коньяк из горла.

Выжрали, понятное дело, всё до последней капли, завалились спать, и вдруг в четыре часа утра я проснулся от ЗАПАХА. Оказывается, Матушка сошла в Крыжополе, а на её место заступил Тракторист В Носках.

Я не очень нежный человек, честное слово. Я и в стройбате служил, и в общежитиях полжизни провёл. В общежитиях, там был такой метод обращения с носками, назывался «положить на экспозицию». То есть носки нужно было положить под матрац. Через пару дней они выдохнутся, и тогда их снова можно носить.

А ещё сосед мой по комнате любил замочить их в тазике и забыть на пару недель. В общем, спокойно отношусь.

Но тут я выскочил со слезящимися глазами, чихая и кашляя, и так и простоял в курительном тамбуре до самой Одессы.

Так что плацкарт всё же лучше. Там на каждого Человека В Носках и даже на двух Человеков В Четырёх Носках приходится гораздо больше кубометров воздуха.

А ещё бывают Вагоны Повышенной Комфортности.

Как-то в поезде читал я в какой-то железнодорожной газете (в поездах иной раз какой только дряни не начитаешься) интервью с Главным Железнодорожным Начальником.

В этом интервью он с большой обидой жаловался, что,

мол, и сам он лично, и всё железнодорожное руководство день и ночь трудятся над повышением комфортности перевозок. Устаревшие вагоны изымаются, закупаются новые прекрасные вагоны с кондиционерами и телевизорами, питанием и выходом в сеть интернет. А россияне (у Главных Начальников и Президентов все, кто не они сами, не их родственники или знакомые и не иностранцы, называются «россияне») все как один набиваются в старые душные вагоны и сидят там, прижимая к груди деревянные чемоданчики, глазами лупают. Дремучие люди.

Ну, Главный Начальник, конечно, не так сказал – он же культурный человек, любит свой народ.

Но вот не понимает он: зачем ехать в душном вагоне, когда можно ехать с кондиционером? Хотя не кто-то там, а Начальник – дурака министром не назначат! Любая касирша за окошком это понимает, а он почему-то нет.

Дорога. Цыгане

Когда я лет двадцать тому назад работал проводником, в одном рейсе произошла очень неприятная история с проводником из соседнего вагона: на узловой станции Чу к нему набился целый табор цыган. Без билетов, конечно, – цыганам покупать билеты запрещают их обычаи.

При этом ещё до прибытия на станцию Чу по составу было разослано строгое приказание бригадира, чтобы зайцев не брать: какая-то шла проверка, что ли, министерская, и в этот редкий день ревизоры денег не брали и даже водки в штабном вагоне не пили.

А тут цыгане! Сосед их, конечно, пытался не пустить, да какое там – пока он выпихивал ногой с подножки беременную цыганку с восемью детьми, остальные цыганы зашли через другую дверь, расселись на всех полках и уже обобрали половину законных пассажиров. А тут и поезд тронулся – не выбрасывать же этих цыганов на ходу.

Ну и тут же, конечно, пришла ревизия. Я сам тогда в первый раз увидел трезвых ревизоров, да чтобы ещё что-то проверяли. А тут в соседнем вагоне сорок восемь зайцев! Ну, в общем, скандал, протокол, соседу пиздец.

После рейса, значит, разбор у начальника резерва проводников. Мы с напарником тоже туда были приглашены, но по другому поводу: нас тогда немного позже на станции Луго-

вой сняла с поезда милиция, но это другая, впрочем, история.

И вот читает начальник резерва протокол про зайцев и с недоумением спрашивает нашего соседа: «Да ты, парень, охуел, что ли? Сорок восемь зайцев! Я сам проводником двадцать лет ездил, но такое первый раз слышу!» Тот объясняет, что вот, мол, цыгане налезли, а тут ревизоры. «Цыгане? – говорит начальник уже добрее. – Ну, цыгане – это другое дело. А почему в протоколе не записано, что это были цыгане?» Сосед растерялся: «А что – разве в протоколе такое пишут?»

Тут зачем-то и я влез, хотя уж мне-то следовало бы помалкивать: «А что, Акылбек Серикбаевич (или не помню, как там его звали), разве в протоколе нужно обязательно указывать национальность всех зайцев? Мол, обнаружено три безбилетных пассажира – один кореец и два узбека?» «Узбека не надо, – поморщился начальник. – А цыгане надо!»

Ну, в общем, присудили нам всем месяц исправительных работ по благоустройству территории с поражением в зарплате, но это уже не важно.

Но с Акылбеком Серикбаевичем я тогда так и не согласился. Что поделаешь: был я типичным продуктом несостоявшегося коммунизма, взрожденным в атмосфере безбожия, интернационализма и веры в светлое будущее. Что, впрочем, не мешало мне выдавать пассажирам бельё по второму разу, но это к делу не относится.

И только через много-много лет, да что там – только сей-

час, я признал наконец правоту старого мудрого начальника резерва: национальность действующих лиц таки имеет значение для протокола! Да в сущности только она одна и имеет значение.

II. Деревня



Деревня. Август. Ночь

Ночью в деревне, пожалуй что, страшно.

Вот скрипнуло что-то: дом живет своей жизнью, и неизвестно ещё, нравится ли ему новый хозяин. На чердаке разговаривают домовые: один мужчина, другой женщина. Про меня наверняка и, кажется, не очень одобрительно.

А вот проиграли позывные радиостанции маяк: не слышны в саду даже шорохи. Слышны, ещё как слышны! Кто там, кто? Крот? Медведь? Вот Медведь уже вышибает одним ударом дверь с щеколдой, подвязанной куском проволоки чисто для душевного комфорта. Поднимается на крыльцо, а тут дверь вообще не закрывается – вчера ночью прошёл дождь, отсырела. Чем его? Ухватом? Топором? А если пораню? Он же тогда совсем рассердится.

Ну или пусть даже крот.

Один учёный-натуралист позапрошлого века однажды взялся рассуждать о том, что бы случилось с нашей жизнью, если бы крот был размером со слона, и пришёл к такому выводу, что это был бы всем пиздец. В силу особенностей своего организма крот обязан жрать непрерывно, иначе помрёт. Он даже во сне всё время куда-то ползёт и всё подряд грызёт: палки, жуков, червяков, картошку, фундаменты, что попадётся – ему всё вкусно. И вот он вдруг стал размером со слона. «Представляете, какой бы это был

кошмар!» – восклицал впечатлительный натуралист, сам до смерти перепугавшись придуманного им чудовища.

Да ладно, шут с ним, с этим Медведем. Про людей же лучшие вообще не думать.

Но откуда тут радиостанция маяк? Тут вообще нет радио. Ага! «Сегодня, двадцатого августа, Генеральный Секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ Леонид Ильич Брежнев отбыл с дружественным визитом в Германскую Демократическую Республику. В аэропорту „Шереметьево“ его провожали члены Политбюро ЦК КПСС товарищи Зайков, Русаков, Пельше, Подгорный, Зимянин, Кадышев...» Понятно: фантомное радио – обычное дело.

Если включить лампочку под потолком – у меня будут единственные светящиеся окна на много-много километров. Все остальные жители (их человек восемь) ложатся спать в десять. А я по городской привычке никак не могу заснуть раньше двух.

Надо выпить водки, вот что.

Да, непременно нужно выпить, а то ебанёшься тут, прислушиваясь.

Однажды мне подарили фляжку под коньяк и набор из маленьких рюмочек в клетчатом, как шотландская юбка, чехле – конусообразные из нержавеющей стали, три штуки по двадцать грамм.

Фляжка куда-то потерялась, а рюмки прижились. Два-

дцать грамм – это правильная доза: её хватает ровно на двадцать минут. Потом можно выпить ещё двадцать или не выпить. Это уже вопрос свободной человеческой воли.

Так что нужно выпить эти двадцать грамм и подумать о чём-нибудь прекрасном. О советской армии, например.

Двадцать грамм. Советская армия

На станции Плесецк я побывал ровно четыре раза и вряд ли когда-нибудь побываю на ней ещё. В первое моё посещение станция эта произвела на меня впечатление самое удручающее: было чёрное декабрьское утро, и нас, дрожащих от горя и дурных предчувствий юношей, высадили из поезда Москва – Северодвинск и выстроили на освещённом единственным фонарём перроне. Вид наш был ужасающ: некоторые были ещё пьяны, другие тяжело похмельны; одеты все были в самые невозможные обноски – говорили, что по приезду в часть одежду сжигают, а что получше, забирают себе старослужащие (и это была чистая правда), так что все оделись во что не жалко. На мне, в частности, была школьных ещё времён болоньевая куртка, прожжённая в двух местах, штаны, в которых отец моего институтского приятеля задавал корм нутриям, рваные кеды и непременно лыжная шапочка с какой-то спортивной надписью (по-простому «пидорка»). Все были клочковато выстрижены на призывном пункте электрической машинкой под ноль; в строю многие шатались и даже почти падали. Более всего мы напоминали ту роту дуболомов, на которую Урфину Джюсу не хватило живительного порошка. Работорговец на восточном базаре получил бы за всех нас оптом в лучшем случае одного хромого ишака, но покупатели (прапорщики из окрестных во-

енно-строительных частей) не дали и того: просто разобрали нас по списку даром, не смотря даже в зубы и не щупая мускулов: в хорошем хозяйстве всякая тварь сгодится – не для работы, так на корм другим.

Нас погрузили в фургон без окон с голым дощатым полом и лампочкой в потолке (позже я узнал, что это была самая роскошная машина в части – в ней возили из города и обратно офицеров). В углу на скамейке спал рыжий сержант в засаленном бушлате. Когда мы стали рассаживаться, он проснулся и сонно нас осмотрел: «Ну чо, духи, – сказал он с удовлетворением. – Бухать есть?» Все развели руками – всё было выпито ещё в поезде. «Ну тогда вешайтесь», – равнодушно сказал сержант и снова заснул.

Прапорщик запер двери снаружи, и более я никаких достопримечательностей станции Плесецк в тот раз не увидел.

Во второй раз я побывал на этой станции при гораздо более счастливых обстоятельствах.

Был я к тому времени уже вполне заслуженным «дедушкой».

Внутренняя эта солдатская табель о рангах в зависимости от срока службы, в противовес официальным «соплям», как презрительно именовались ефрейторские или сержантские лычки, выдававшиеся за умение угодить командованию, существовала в армии уж точно через некоторое время после всеобщей демобилизации после войны и существует наверняка в том или ином виде и поныне. В разных родах войск и

в разных местах дислокации названия чинов различались, но принцип оставался один: положение твоё зависело от того, сколько приказов Министра обороны ты пережил в армии.

Приказы эти (о призыве и демобилизации) с неизменной педантичностью подписывал 27 марта (весенний) и 27 сентября (осенний, в мой, кстати сказать, день рождения и, как я недавно узнал, в праздник Воздвижения Креста Господня) тогдашний Министр обороны маршал Дмитрий Фёдорович Устинов.

Как и все послевоенные генералы, не отличившись ничем на полях сражений (если не считать афганскую войну), Дмитрий Фёдорович, тем не менее, пользовался в войсках большой любовью. Про него даже было сочинено стихотворение, которое молодые солдаты обязаны были читать хором для убаживания засыпающих дедушек:

День прошёл, и ночь короче.
Дедушкам спокойной ночи.
Пусть вам снится дом у речки,
Баба голая на печке,
Самогону целый таз
И Устинова приказ.

До первого приказа солдат назывался духом и не просто не имел никаких вообще прав, а имел скорее права отрицательные, затем, после первого приказа он становился салагой и после прихода нового пополнения приобретал право

это пополнение всячески унижать, но на свой страх и риск (если получит отпор, то никто за него не вступится); после третьего приказа он становился черпаком, никому уже кроме дедов не подотчётным, затем собственно дедом, в каком звании он обязан был поддерживать должную строгость среди всех позднее его призванных; и наконец, после приказа, касающегося непосредственно его самого, он становился гражданским, над которым более не властны были никакие армейские или иные человеческие законы. К этому моменту он полностью утрачивал всякий интерес к военной службе и чаще всего бесцельно бродил по части в тапочках на босу ногу или же занимался приготовлениями к иной жизни, то есть к дембелю.

Деревня. Август

Все сколько-нибудь работающие мужики уехали из нашей деревни в Белоруссию. До Белоруссии двенадцать километров, и все знают, что страшнее места, чем Белоруссия, нет. Ничего там нет: ни оппозиции, ни свободы слова, ни педерастии, ни прогрессивного искусства, ни макдональца, и вообще ничего нет, что бы не нравилось заскоружлому Батьке с фальшивым начёсом на лысине, но всё равно почему-то едут. И едут по одной причине: там в каждой деревне есть такая штука, которая называется «приём излишков сельскохозяйственной продукции».

Вот вы задумайтесь: лично вам нужно куда-нибудь сдавать эти излишки? Или, может быть, кому-то из ваших знакомых это нужно? Готовы ли вы пожертвовать за возможность сдавать излишки вашей сельскохозяйственной продукции драгоценной возможностью пиздеть всё, что вам придёт в голову? И это притом, что вам никогда, вы слышите, никогда не позволят пройти по центральной улице города Минска в разноцветных колготках.

Двадцать грамм. Володя

Вот, помню, был у нас в советской армии военный строитель Володя. Милый такой мальчик с персиковыми щеками – мечта седовласого педераста. В стройбат он попал со второго курса какого-то престижного московского института, откуда его выперли с большим скандалом, но о сути скандала Володя никогда не рассказывал и только густо краснел.

Я попал в стройбат на пару месяцев позже, чем он, и очень долго не мог понять причин того всеобщего уважения и даже трепета, с какими к нему относились даже самые дикие жители кишлаков и аулов. Никаких видимых причин для этого не было: Володя не был сыном командира части или министра обороны, по сроку службы он был таким же новобранцем (у нас, впрочем, говорили «духом»), как я, который был вынужден еженощно обмывать кровь с разбитой морды и пересчитывать наличные зубы.

Более того, Володя был москвичом, а всякий служивший в армии хорошо знает, как там относятся к москвичам: там жители столицы нашей Родины сполна получают воздаяние за неравномерность распределения материальных благ по российской территории. Но Володи и это не касалось.

И даже командный состав относился к нему с большим пиететом: Володя работал при штабе – послать его на общие бетонные работы казалось кощунственным даже для бесчув-

ственного, как мясная колода, и насквозь проспиртованного майора по фамилии Козляк (он ей полностью соответствовал).

Несмотря на свой небольшой срок службы Володя служил при штабе нарядчиком, то есть записывал за каждой бригадой объёмы выполненных работ. Это была очень хлебная и почетная должность, и как на неё мог попасть дух, отслуживший два месяца, – это никакому человеческому объяснению не поддавалось.

Позже, когда я уже пристроился в клуб художником, Володя стал заходить ко мне в гости. Мы попивали там чифирь и другие запрещённые напитки и беседовали о буржуазных ансамблях. Володя много рассказывал о неизвестной мне столичной жизни. Например, именно от него я впервые услышал слово «динамо» не в применении к футбольной команде. Я в основном слушал и всё силился разгадать тайну его личности, но так и не разгадал.

Потом меня за нарушения воинской дисциплины прогнали из художников в бригаду бетоноукладчиков и землекопов, и с тех пор я видел Володю лишь изредка: всё у него было по-прежнему – всё то же всеобщее почтение и восхищение. Я махнул на эту загадку рукой – на бетоне не до загадок.

Да. А конец у истории, как всегда, печальный. Пожалуй, слишком печальный даже для этой бесчувственной жизни.

Как-то уже на втором году службы где-то в декабре я (к

тому времени опять художник) подновлял на строительном вагончике производственные показатели и вдруг заметил какое-то странное движение в траншее неподалёку. Пригляделся: Володя. В бушлате, валенках и ватных штанах.

Я краем уха слышал о каком-то гигантском и таинственном скандале в штабе, после которого Володе сначала дали десять суток гауптвахты, а потом отправили на рытьё траншей, так что не удивился. Удивился я другому: Володя танцевал. Танцевал он медленно и страшно: он взмахивал руками и пытался взлететь в воздух, но валенки и ватные штаны тянули его назад на землю, Володя делал изящное па и снова пытался улететь. И всё это в мертвецком свете ртутного прожектора над котельной. Признаюсь честно: я сбежал от ужаса.

А через два дня Володя порезал себе вены, его спасли и отправили в дурдом. Больше я никогда ничего о нём не слышал.

Деревня. Август. День

А почему, собственно говоря, деревня?

Вопрос этот почему-то очень сильно беспокоит и даже раздражает многих моих знакомых и не очень знакомых людей. Люди, они вообще не выносят, когда им что-то непонятно, – для каждого действия обязательно должна быть легко понимаемая причина.

Вот, например, где-то в украинских степях живёт один программист. Но живёт он там не просто так: будучи необычайно прозорливым, как все программисты (прозорливее их только шахматисты), он тщательнейшим образом подготовился к обрушению мировой экономики, ядерной войне и другим напастям. Он подсчитал, сколько нужно на двадцать лет соли, спичек, туалетной бумаги, мыла и гвоздей, всё это за несколько лет закупил и только тогда переехал в деревню.

С ним всё понятно.

А я зачем?

Я хоть родился в крестьянской семье, но уже в городском роддоме: мать моя была первой из всей семьи, кто вырвался наконец в Город. Туда, где течёт из крана горячая вода, где тёплый сортир и где не нужно каждый день топить печку.

Она поступила в педагогический институт, и дети её, то есть я, через двадцать лет тоже поступил в педагогический

институт, и жить бы, казалось бы, да жить, в наше время вообще очень много возможностей для достойной жизни.

Бежать от мирового кризиса? Да нет, тогда, когда я сиделся в поезд, им даже и не пахло, а пахло, наоборот, невиданным в нашей вечно голодной стране изобилием. А я, в отличие от того программиста, вовсе не прозорлив.

И не потому, что там чистый воздух и натуральные продукты – о своём здоровье я вовсе никак не забочусь, если не сказать хуже.

От людей? Ну, может быть, в какой-то степени – уж слишком их много в городе. Правда, дальнейшая жизнь показала, что в деревне людей хотя и много меньше, но зато все они гораздо ближе.

Поэтому я не знаю, что ответить на этот вопрос: мне просто нравится жить в деревне, и всё. И хватит об этом.

Так что ещё по двадцать.

Двадцать грамм. Гауптвахта

А гауптвахта, на которой Володя провёл десять суток, была страшным местом.

Заправляли там эстонцы. У нас в части тоже были эстонцы, но они были обычные, как их все и представляют: вялые, медленные, с белыми ресницами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.